

**А.С. Осипович-Новодворский**

**Эпизод из жизни ни павы, ни  
вороны**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
А11

А11 **А.С. Осипович-Новодворский**  
Эпизод из жизни ни павы, ни вороны / А.С. Осипович-Новодворский – М.:  
Книга по Требованию, 2021. – 198 с.

**ISBN 978-5-4241-1658-2**

Новодворский Андрей Осипович — русский писатель. Публиковался под псевдонимом А. Осипович. Происходил из обедневшей польской дворянской семьи. Умер в 29 лет от туберкулеза. Печатался в "Отечественных записках". Творчество писателя относят к щедринской школе.

**ISBN 978-5-4241-1658-2**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© А.С. Осипович-Новодворский, 2021





# ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ НИ ПАВЫ, НИ ВОРОНЫ

(Дневник домашнего учителя)

Вместо предисловия

— Так превратился в ни паву, ни ворону, говорите вы?

— Да.

— Однако кто бы мог подумать! Такой, можно сказать, хорошей породы и так измельчал!.. Он... вы знаете? некоторым образом незаконнорожденный... Ну, постоянные уколы самолюбия, некоторые неудачи... Жаль, жаль!

\* \* \*

Это было в Баден-Бадене, на гулянье, часов в семь теплого летнего вечера. Гуляющих было, как обыкновенно в это время, много; играла музыка. Разговор вели, сидя на скамеечке под старой, развесистой липой, гг. Тургенев и Соломин.

— Я редко посещаю Россию, — начал г. Тургенев после непродолжительного молчания, — и совсем потерял его из виду; но так как члены этого семейства всегда служили как бы верстовыми столбами на дороге российского развития, то я думал, что и отсюда увижу, когда он достаточно разовьется и выяснится... Скажите, пожалуйста: он не покушался на самоубийство?

Это обыкновенный исход для таких уязвленных натур.

Соломин рассказал мою историю.

— Но вы, кажется, меня не совсем верно поняли, — заключен он, добродушно скаля зубы. — Почему вы думаете, что он человек с уязвленным самолюбием?

Г-н Тургенев посмотрел на него с недоумением.

— А разве может быть другое объяснение этому странному направлению? Вы разве знаете другую причину?

Соломин почему-то заволновался, как вода, выведенная из равновесия дуновением ветерка, и боязливо стал оглядываться по сторонам, но через минуту вполне овладел собою и произнес с хитрою улыбкой:

— Я не знаю другой причины, кроме той, что он ни пава, ни ворона.

— Извините, что-то не понимаю, — произнес г. Тургенев с некоторой досадой. — Что ж вы называете в таком случае ни павой, ни вороной?

— Ни пава, ни ворона — название обшее, такое же, как например лошадь, бабочка, а пород их много, как и пав. Пава — предел движения для ни павы, ни вороны. Всякая ни пава, ни ворона имеет свой предел, свою паву, и сообразно с этим они делятся на разряды. Одни из них составляют достояние зоологии, другие — сатиры; а то еще бывает «кающийся дворянин», Белинский...

— Что-о?

— Белинский. Впрочем, я, как уравновешенная душа, мало сталкиваюсь с этими людьми, кроме разве случаев особенной личной симпатии. Если угодно, я вам прочту о Белинском из письма той самой ни павы, ни вороны, о которой у нас с вами и речь, главным образом, зашла.

— Сделайте одолжение.

Соломин вынул из бокового кармана письмо, которое я написал к нему за

несколько дней перед этим, и прочитал следующий отрывок:

«Что такое Белинский как тип? Это "алчущая правды", вечно страдающая, вечно рвущаяся к свету ни павы, ни ворона...

Он родился между воронами, в вороньей обстановке, родился впечатлительным, сердечным, добрым и сразу стал чувствовать себя неладно в вороньей среде. Он задыхается, ищет воздуха. А там, у подножия божества, спокойно расположились павы... Неотъемлемая особенность его характера — неудовлетворенность и стремление к идеалу. Ни вороны, ни павы этого не испытывают. У первых ничего подобного не зарождалось в голове, а вторые успокоились на лоне какой-нибудь до того широкой (или узкой) идеи или на таком громадном запасе силы, что перед нею все сомнения, терзания — нуль! Белинскому завидно это олимпийское спокойствие. Он так энергично рвется к богине, что, наконец, может достать до нее рукой, и с восторгом смотрит вниз, на громадный вороний мир, копошащийся там, далеко. Но тут-то оказывается, что павой ему никогда не бывать, не потому чтобы его общипали, а просто потому, что в нем самом много вороньего: он страстно любит ворон... Вот и начинает чудить Белинский. Он протягивает руку вниз, зовет ворон, несмотря на то что павам это, может быть, вовсе нежелательно; потом, видя, что вороны не обнаруживают ни малейшего поползновения лететь так высоко, он схватывает богиню за подол платья и тянет ее вниз, к воронам; когда и эти желания ни к чему не приводят, он, больной, измученный, проклинает и божество, и ворон и умирает... ни павой, ни вороной».

Соломин сложил письмо и снова спрятал его в карман.

— Ничего более, как желание прикрыть и оправдать великим именем свое духовное убожество; а впрочем, довольно остроумно... Вы теперь в Россию едете? — заключил вдруг г. Тургенев, очевидно желая переменить разговор.

— Да, там у меня место на фабрике есть.

— Что ж, понравился вам Манчестер?

Они поговорили еще кое о чем и распрощались самым дружелюбным образом. Глубокое взаимное уважение, лежавшее в основе их отношений друг к другу, несколько не пострадало от маленького разногласия по поводу моей смиренной особы... Через три года после этого разговора появилась «Новь»...

Я заранее прошу извинения у г. Тургенева, если эта встреча его с Соломиным окажется выдумкой. Я взял ее целиком из недавно полученного мною письма от Соломина, на которого — буде что — и падает вся ответственность за неправду. Соломин подчас любил шутки, и очень может быть, что, благодаря счастливой *оказии* (у него недавно родился сын от Марианны, с которою я — NB — не знаком), это шутивное настроение усилилось в нем в значительной степени.

Во всяком случае, дело настолько близко касается меня, что считаю долгом рассказать свою подлинную историю, во избежание всяких недоразумений.

Но это дела так недавно минувших дней, что, даже находясь накануне нового фазиса развития, я еще не могу отнестись к ним вполне объективно и потому предлагаю на ваш суд, «прекрасная читательница», не связанный художественный рассказ, а беспорядочные наброски, в том виде и порядке, в каком в памяти возникли пережитые впечатления. Я выбрасываю числа и дни из своего дневника, так как в рассказе о прошлом они не имеют никакого значения; остается, значит, как изволите видеть, не дневник, собственно, а так, черт знает что, ни рыба ни мясо, словом — произведение ни павы, ни вороны. Впрочем, если хоти-

те, иначе и быть не может: представляя собой момент развития, мы, ни павы, ни вороны, не вылились в определенную форму, а потому не можем придавать таковой и своим произведениям.

Но позвольте с вами познакомиться.

Прежде всего несколько слов о моих предках: я уверен, что вы, «прекрасная читательница», имеете о них самые сбивчивые понятия.

Мой дедушка — «дух отрицанья, дух сомненья», или просто Демон, — умер естественной смертью, у себя в постели, соскучившись, вероятно, летаньем без толку над вершинами Кавказа и нелепым препровождением времени — побеждать сердца прекрасных дам... Бедный дедушка! Он, в сущности, был чрезвычайно добр. Его «отрицанья и сомненья» потому только казались ужасными нашей покойной бабушке, что она, с непривычки, склонна была видеть величайшие ужасы во всяком сомненье; а между тем дедушка не отрицал и не сомневался даже в крепостном праве.

Доброе старое время! Вы, конечно, его не помните. Ваша добрейшая бабушка была тогда еще очень молодою девушкой, воспитывалась в институте, мечтала о конногвардейцах, «с огнем в глазах и думой на челе», и проливала слезы над известной поэмой Лермонтова, где рассказывалось о моем дедушке, тщательно прятала книжку от «возлюбленной» татап, а на ночь помещала ее под подушку... Какие сны ей снились! Сколько сладостных грез, волнующих, подзадоривающих, уносящих воображение далеко-далеко за вершины Кавказа, под облака, где в беспорядочной массе смешивались огненные глаза, шелковистые усы, блестящие эполеты, целые идиллические картины жизни, исполненной любви, — всё, что могло вырасти в душевной, сжатой атмосфере института и жизни на алчущей воздуха и свободы душе!

Тогда Афанасий Иванович, как вам известно, был еще молодцом, носил белый жилет и только что похитил Пульхерию Ивановну.

Всё это прошло. Ваша бабушка вышла замуж за вашего уважаемого дедушку и сделалась примерной хозяйкой. Многие еще до сих пор помнят ее бесподобные наливки, маринованные грибки, бесподобные варенья. Вам уж не сделать таких... Вы помните, как она угощала гостей на балконе, что выходил в большой тенистый сад? Ваша матушка сидела за самоваром, гости весело беседовали, а вы, наскучив играть с подругами, приютились в уголке.

Славный был вечер. Солнце садилось, жар свалил; дышалось легко и свободно; в пахучем воздухе носились майские жуки; вдали раздавалось блеяние деревенского стада и мелодическое кваканье лягушек. Ваша бабушка тихонько отошла в сторону, села в густой тени и долго-долго глядела на медленно потухавшую зарю; а вы вдруг подбежали к ней, взяли ее руку и спросили с трогательным участием:

— О цом ты, бабуска, плащесь?

Мой дедушка тогда умирал.

У его постели собрались мы все: отец — Печорин, я, мои братья — Рудин и Базаров. Я прекрасно помню эту минуту. У двери почтительно вытянулся крепостной лакей во фраке и белых перчатках; у изголовья сидел отец, холодный и бесстрастный, словно происходившее вовсе не к нему относилось; мы, ребята, стояли. Базаров был угрюм и недоволен. Он, кажется, ругался про себя, что «заставляют торчать тут и слушать всякую чепуху отцов». Рудин навзрыд

рыдал, а я испытывал нечто неопределенное: то зареву во всё горло, то вдруг затихну и употребляю усилия, чтоб не расхохотаться; то тоска какая-то найдет, то беспричинная злость разбирать станет — и всё это в одну и ту же минуту.

Вас, «прекрасная читательница», может быть, удивляет, что мы не назывались одной фамилией? Это, конечно, вина биографов, окрестивших одного так, а других иначе; но надобно сознаться, что избежать этого разъединения было довольно трудно: одна фамилия неизбежно привела бы к некоторой сбивчивости; да притом, благодаря известной ветрености батюшки, мы, то есть я и братья, произошли от разных матерей, чем, может статься, и объясняется некоторое несходство наших характеров.

В комнате, кроме упомянутых лиц, никого не было. Не было Онегина, потому что он вовсе не брат отца, как утверждали некоторые, а только далекий родственник, десятая вода на киселе; отсутствовал также Обломов, по той простой причине, что он сын Онегина, а не Печорина. Заявляю это торжественно ввиду возникших было недоразумений и выдумок.

Старик вовсе не походил на обыкновенных умирающих; он как будто по своей воле, по принципу умирал. Лицо, правда, было очень бледно и исхудало, но глаза (как раз такие же, как и у отца) светились ровным блеском, голос был тверд и спокоен, только тише обыкновенного. Он долго молчал, как бы желая дать Рудину время выплакаться. Ждать пришлось недолго. Рудин вдруг перестал хныкать, скрестил на груди детские ручки, опустил на грудь свою красивую, кудрявую головку и печально уставил на деда глаза, полные необыкновенной нежности. В комнате сделалось тихо. Отчетливо постукивал часовой маятник («Глагол времен, металла звон», — помню, вертелось у меня в голове); так же неподвижно стоял лакей у двери, так же бесстрастно сидел отец.

Дед откашлялся, улыбнулся и начал тихим голосом, ясно отчеканивая каждое слово:

— Ну, ребята, вы видите, что мне пора *ad patres*... Я, конечно, мог бы это устроить и без всяких церемоний, не заставляя вас скучать здесь, но мне хочется сказать вам несколько слов на прощанье... Не хнычь, малый! — обратился он к Рудину. — Нечего плакать при финале комедии!..

Он засмеялся каким-то глухим, коротким смехом, от которого я вздрогнул, словно из-за могилы хохот раздавался. С нашей стороны — ни звука, ни движения; даже Базаров перестал ворчать под нос и с любопытством прислушивался.

— Да, это была комедия, довольно плохая комедия! — продолжал Демон. — Я имею полное право сказать... Чьими, бишь, словами? Ну, всё равно! Память что-то плоха стала... Что-то вроде следующего:

Ах, как я жил, как шибко жил!

Могу сказать — две жизни прожил!

Жизнь, так сказать, на жизнь помножил.

И нуль в итоге получил...

Дед довольно живо продекламировал этот теперь общеизвестный отрывок (интересно знать: он сочинен до или после смерти дедушки?) и снова захохотал замогильным голосом.

— Вы, малыцы, — обратился к нам умирающий, — едва ли много смекаете в том, что я говорю, но всё равно — слушайте: после пригодится... Да!.. Всякие там дамы доставляли мне только мимолетное наслаждение, и вся моя жизнь —

бесконечная скука... Скука — это пустота. За тобою — пустота, перед тобою — пустота, кругом — пустота! Это совсем черт знает что!.. И знаете, отчего вышел такой скандальный итог жизни? (Дед воодушевился и привстал на постели.) Оттого что я потерял свой *raison d'être*!

Ему словно трудно было выговорить это слово; он снова упал на подушку и продолжал уже спокойнее:

— Что такое я?

— «Дух отрицанья, дух сомненья!» — восторженно продекламировал Рудин. — Ты, дедушка, — сила!

Старик серьезно взглянул на мальчика, отец как-то печально улыбнулся, а Базаров проворчал: «Дурак!»

— «Дух отрицанья, дух сомненья», — медленно повторил умирающий. — А что же я отрицал? Я *всё* отрицал, то есть, говоря другими словами, *ничего* не отрицал, а так, интересничал, баловался... И не признавал, впрочем, ничего. Это было просто полнейшее равнодушие ко всему на свете... (Дед зевнул.) О, если б я мог отрицать, то есть со смыслом отрицать! Если б я знал, что отрицать!.. Ты, сын мой, — Печорин повернул к нему голову, — ты находишься в более счастливых условиях. В тебе больше мускулов, крови; ты не можешь летать, как я в дни юности; ты, по необходимости, прикован к человеческому обществу, предмет твоих отрицаний и сомнений определеннее... Но ты пошел по ложной дороге, и я хочу тебя предостеречь: затем и признание это затеял... Посмотри на своих пострелят: это живой укор твоей легкомысленности... Передай им, по крайней мере... Уй-ди в пустыню...

Дед умер.

Рудин бросился к трупу, припал к исхудалой, еще теплой руке и стал бормотать какую-то чепуху. Можно было разобрать:

— Бедный, благородный дух! Никем не признанный и одинокий... Я возьму на себя твою задачу...

Бедный мальчик не знал, к чему приведет его эта задача; не знал также, что никакой задачи у Демона не было, а было только известное нравственное настроение, доставшееся и нам в наследство. Из этого настроения каждый из нас построил для себя те или другие задачи, смотря по личным силам и сообразно окружавшим обстоятельствам.

Базаров стал разжимать палец у трупа, с целью исследовать, насколько в нем сохранилась упругость; я стоял неподвижно, совсем растерявшись от множества самых разнообразных чувств и мыслей. Отец посмотрел несколько секунд на покойника, потом круто повернулся и вышел из комнаты, заметивши мимоходом лакею:

— Убери.

Лакей взвалил себе на плечи легкое тело дедушки и унес его к мосту, что на речке Лете, откуда и бросил в воду бранные останки когда-то мощного духа... *Sic transit gloria mundi*.

Дед скончался в с. Небываловке, имении Печорина (скоро, впрочем, оно было продано за долги), после дуэли отца с злополучным Грушницким, после романа с княжною Мери. Поговаривали в нашем околотке, что княжна — моя мать, что очень вероятно, хотя в биографии отца, как вы знаете, об этом ни слова не упоминается.

Не знаю, почувствовал ли потерю Печорин или нет, — по лицу ничего нельзя было разобрать, — но через несколько дней после смерти Демона он приказал запречь лошадей, уложить вещи и объявил нам, что уезжает навсегда, объявил в ту минуту, когда уже надо было садиться в экипаж.

— Куда ты, батя? — спросил Рудин голосом, полным слез.

Печорин, сидя в повозке, неопределенно как-то махнул рукой. Кучер стал подбирать вожжи.

— Да говори толком куда? — подскочил к отцу Базаров.

— В пустыню! — послышалось нам за грохотом колес.

Мы, как говорится, остолбенели.

— Если человеку нечего делать в Европе, то он поступает очень умно, отправляясь в Азию.

Базаров проговорил про себя эту фразу и спокойно пошел в комнату. За ним последовал Рудин с инстинктивной торопливостью слабого человека, покорно следующего за сознающей себя силой. Я остался на месте, глядя на далекий холм, за которым скрылся экипаж отца. В голове у меня начало мутиться, к горлу подступили рыдания, но заплакать я все-таки не мог; наконец в глазах потемнело — и я упал без чувств.

Я очнулся после двухнедельной горячки в чужой семье. Братьев со мной не было. Их отвезли тоже к названным отцам и матерям. Дальнейшая история того и другого вам известна из превосходных биографий, написанных г. Тургеневым.

Дождь, слякоть, словно снова начало марта вернулось... Тоска смертная; уроки шли вяло... Да! Вы, «прекрасная читательница», конечно, зададите мне вопрос: почему я называю себя домашним учителем, когда вовсе не намерен говорить о своей педагогической деятельности? Очень просто: потому что я действительно домашний учитель. Ни пава, ни ворона — домашний учитель — такое же определенное выражение, как например «читатель»; только слово «читатель» обнимает собою более или менее всего человека, тогда как «учитель» в применении к ни паве, ни вороне есть только известный момент, точка поворота. Тогда ни пава, ни ворона или отдыхает после какой-нибудь «истории», или готовится к ней, или просто, как например я, приводит себя к одному знаменателю.

Мне еще и потому приятно называть себя учителем, что г-жа Елена (Инсарова), дама, неожиданная встреча с которой оставила во мне самые приятные воспоминания, также была учительницей...

Спешу, впрочем, оговориться, что я не уверен, была ли это действительно т-ше Инсарова или нет: я видел ее в исключительных обстоятельствах и не могу ручаться за безошибочность тогдашних впечатлений; но товарищ уверял меня, что это была подлинная Елена, вернувшаяся в Россию после смерти Инсарова и поселившаяся в прехорошенькой деревушке Забаве, где товарищ мой — Печерицей звали — был кузнецом. Повторяю, что за достоверность этого факта ручаться не могу.

Но я лучше расскажу, как было дело.

Пересмотрел написанное: совсем неладно написано. Я с грустью должен сознаться, «прекрасная читательница», что обладаю слабостью, формулируя свои мысли на бумаге или даже просто в голове, про себя, многое не досказывать, не доканчивать — не говоря уже о форме, — оставлять углы и прорехи, за которые

потом сам же цепляюсь и часто разрушаю целое логическое здание. Эта несчастная слабость — недостаточно округлять и отделявать свои мысли — причинила мне много хлопот в жизни, много минут самоуничтожения, самобичевания и тому подобной бесплодной траты нравственных сил. Но так как это уже у меня в крови, то есть, так сказать, «независящее обстоятельство», то я ограничиваюсь только указанием на факт, чтобы стимулировать вашу снисходительность, и продолжаю без всякой надежды на исправление.

Легко сказать: «Расскажу, как было дело!», а как его рассказать толково, когда оно затрагивает такие чувствительные струны сердца («В сердце человека есть струны», — открыл один молодой человек у Диккенса), раздражает такие еще живые раны, что, право, не знаешь, с которой стороны к нему подойти!

Село Забава лежит в одной из самых роскошных местностей Малороссии. Оно живописно раскинулось рядом беленьких хат вдоль большого, окаймленного развесистыми ивами пруда, на противоположном крутом берегу которого стояла барская усадьба, с большим, сбегавшим к самой воде садом. Широкая плотина, с покосившейся и почерневшей от старости мельницей, соединяла оба берега пруда, а на песчаной отмели, со стороны села, стояла кузница и хата Печерицы. Там я прожил несколько месяцев. Хата состояла из двух довольно просторных горниц, с земляным полом, крошечными окнами и большой кухонной печью в каждой; горницы разделялись сквозными сенями и были до того низки, что Печерица мог безнаказанно выпрямиться во весь рост только в таком случае, если предварительно позаботился отойти от балки и стать в самом глубоком месте пола. Кроме грубых скамей, стола и большого сундука с книгами, там не было другой мебели. Спал Печерица на полу, а для меня устроили из сундука и скамьи нечто вроде кровати.

Это более чем скромное обиталище смотрело, однако, очень уютно и весело. К хате, повыше, прилегал огород с подсолнечниками, маком, любистком, грядками луку, капусты; дальше — небольшой садик из вишен, черешен, груш, слив, а в центре, как великан между карликами, высился бог весть как попавший сюда высочайший серебристый тополь. В жаркие летние дни, когда вся природа как бы замирает в сладостной истоме, а в распаленном, неподвижном воздухе звучит какая-то словно оборвавшаяся, звенящая нота; когда дамы страдают головной болью и кушают мороженое, а Иван Никифорович, напротив того, имел обыкновение без дальнейших околичностей сбрасывать долой все принадлежности своего туалета, — любил я лежать в тени громадного дерева и глядеть по целым часам на высокие белые облака, легкой вереницей проносившиеся по синему-пресинему небу, слушая жужжание, стрекотание, чирикание того вечно суетящегося, неутомимого мира, который когда-то пристыдил известного школьника, желавшего побегать во время классов, заставив его смиренно отправиться, куда следует, и с удвоенной ревностью приняться за латинские склонения... (Это, вероятно, был тот самый мальчик, что впоследствии, возмужав, без слез умиления не мог вспомнить, как пчелки «со всякого цветочка берут взяточку».) Где-то в пространстве раздавалось пение жаворонка, ласточки зигзагами носились в воздухе, прямо надо мною кривилась стая ворон...

Из кузницы доносились мерные, мощные удары молота. Печерица работал.

Много было работы у Печерицы, и кузнец он был хороший. Косу ли починить, серп ли, борону или лемех у плуга подправить — на всё был мастер и справлял-

ся с работой один, несмотря на то что его завалили заказами, потому что другой кузницы в селе не было. Очень любили мужики коваля и часто обращались по делам, не имевшим ничего общего с кузницей. Он пользовался всеобщим почетом и имел громадное влияние на своих односельчан, несмотря на то что ему было только двадцать три года.

«Это уж как Господь кому назначит, — говорили о нем крестьяне, — иной вот до седых волос доживет, а разуму не наберется, а коваль, смотри, еще совсем хлопец, а поди ты... Да и то сказать надо: письменный!»

Случится ли драка в селе, свинья ли там в чужой огород залезет или другое что — идут не в волость, а к ковалю на суд, и не было примера, чтобы кто-нибудь остался недоволен его решением. И Господь его ведает, как это он ухищрялся сам! Сам, собственно, не решает, а поговорит с людьми — что да как, — и те и сами увидят, чье дело правое, и поставят всё на лад, как следует. Беда ли случится человеку — грошей, например, на подати нет, — он к ковалю. «Так и так, — говорит, чоловіче добрый, помоги!» И поможет коваль всегда! Сам-то он небогат; ни скотины у него, ни хозяйства какого (огород и тот старухе Дарье даром уступил), а ежели что — поможет. Пойдет на село, покалякает с мужиками — те и вытащат человека из беды.

Не любил коваль пьянства, хотя нельзя сказать, чтобы сам не пил вовсе; выпьет-таки рюмочку-другую в компании, но больше — ни-ни, и другим не позволит.

В воскресенье или праздник какой коваль отправлялся обыкновенно на несколько часов в корчму; там — музыка. Бондарь Семен на скрипке пилит, сынишка в бубен бьет. Дивчата танцуют.

— Добре, Параско, — гаркнет коваль, — так и треба! Живо!..

Музыка приударяет бойчее, а Параска краснеет как маков цвет.

Странное дело! Ковалья почему-то боялись дивчата. И красавец он был: дюжий, высокий, с густыми русыми волосами, в беспорядке спадавшими на лоб, с темными усами и густой раздвоенной бородкой, ласковый, приветливый — чем не кавалер? А боялись, да и шабаш! Было, правда, в лице его что-то особенное: большие серые глаза его глядели как-то очень уж серьезно, почти сурово, и притом он никогда не смеялся! И веселый бывал, а не смеялся. Может быть, оттого и не любили его дивчата...

На завалинке сидят мужики и беседуют промеж себя. К ним подойдет коваль — они дадут ему место и сразу как-то воодушевляются. Каляканье о том, о сем, ежели серьезного дела нет, делается задумчивее, теплее.

— Коваль, а коваль! — подвыпивший дядько хлопает Печерицу по плечу. — Пойдем, братику, выпьем! — но тут же под влиянием взглядов сконфузится, ежели до предела еще не дошел, а сам присоединится к беседующим. Вечером разойдутся, и никому и в голову не пришло выпить.

Коваль никогда не терял присутствия духа, никогда не выходил из себя, но на него иногда странный стих находил. Раза два в неделю, под вечер, он отправлялся в лес, что за господской усадьбой, и долго ходил взад и вперед по полям, в самом глухом месте, да такой печальный, бледный, что когда его увидела там случайно тетка Ганка, проходя мимо с вязанкой хворосту, то так испугалась, что бросилась сломя голову в село и шепотом сообщила мужу, что с ковалем-де творится что-то неладное; как бы он, чего доброго, руки на себя на нало-